

**ЗИНАИДА  
ГИППИУС**

СУМЕРКИ  
ДУХА

Зинаида Гиппиус

**Сумерки духа**

«Public Domain»

1899

## **Гиппиус З. Н.**

Сумерки духа / З. Н. Гиппиус — «Public Domain», 1899

«Тишина. Такая тишина, что кузнечики молчат в густо-зеленой траве и птицы пролетают над парком без звука, без криков. В глубине, где деревья расступаются, видна долина, синяя, сизая, дымная, легкая – там как будто уже край света. Над долиной – белые тучи, тучи над парком и над домом, но небо все-таки кажется очень высоким, потому что долина слишком глубоко внизу, потому что видно до края света. Дмитрий Васильевич Шадров смотрел на полосатую маркизу террасы, приподнятую складками, на белое небо над мутной долиной и над близкими кудрявыми, исчерна-зелеными деревьями парка...»

© Гиппиус З. Н., 1899

© Public Domain, 1899

# Содержание

Часть первая	5
Конец ознакомительного фрагмента.	27

# Зинаида Гиппиус

## Сумерки духа

### Часть первая

#### I

Тишина. Такая тишина, что кузнечики молчат в густо-зеленой траве и птицы пролетают над парком без звука, без криков. В глубине, где деревья расступаются, видна долина, синяя, сизая, дымная, легкая – там как будто уже край света. Над долиной – белые тучи, тучи над парком и над домом, но небо все-таки кажется очень высоким, потому что долина слишком глубоко внизу, потому что видно до края света. Дмитрий Васильевич Шадров смотрел на полосатую маркизу террасы, приподнятую складками, на белое небо над мутной долиной и над близкими кудрявыми, исчерна-зелеными деревьями парка.

С белого неба стал падать дождь, редкий, осторожный, совсем бесшумный, точно он был очень робок и не хотел, чтобы его заметили. Дмитрий Васильевич едва ловил мерцанье капель на темной зелени деревьев. Тишина стояла прежняя. Лакей прошел мимо террасы, осторожно ступая; крупный гравий скрипнул под его башмаками, и он испуганно оглянулся; но никто из больных даже не поднял головы; они покорились тишине, и чем дальше она продолжалась, тем меньше хотели они освободиться из-под ее власти.

На южной террасе, той, где было место Дмитрия Васильевича, всех больных лежало восемнадцать. Террасы – низкие, в уровень с землей, широкие и светлые. Все восемнадцать больных лежали, не двигаясь, на длинных плетеных креслах, устланных матрасиками и подушками. Кресла стояли поперек террасы, изголовьями в стену, и отделялись одно от другого маленькими столиками. Дмитрий Васильевич не знал хорошенько, кто лежит у него справа, кто слева. Справа, кажется, все переменяются. Да и как разглядывать? Говорить почти все избегают – вредно; и о чем? О том, что сказал доктор? Какая температура? Когда можно уехать? Нет, лучше, естественнее, здоровее здесь эта выжидательная и беспокойная тишина. Она властная и жуткая, потому жуткая, что людей много, и все они вместе и так близко один от другого.

Дмитрий Васильевич глядел на полосы маркизы, на долину, похожую на море, на свое собственное вытянутое тело с ногами, прикрытыми толстым розоватым пледом. Рядом были другие ноги, закрытые пледом другого цвета, клетчатым; потом темно-красный плед, потом еще и еще... все разные. А вон, дальше, похожий на его, такой же розоватый, только, пожалуй, потоньше. Дмитрий Васильевич переводил взор, не повертывая головы, а потому и не видел ничего, кроме пледов. Ему не хотелось двигаться, как никому не хотелось. Всем было предписано лежать и не двигаться, – и они лежали и не двигались, и даже не кашляли от покорности, потому что кашлять было строго запрещено. Это дурная привычка.

Двое молодых немцев, лежавших рядом, в одинаковых велосипедных каскетках, приняли полусидячее положение и стали вдруг играть в шахматы на маленьком, разделяющем их столике. Они не обменялись предварительно ни одним словом, точно у них заранее было решено, когда начать партию. И во время игры они молчали, беззвучно передвигая деревянных королей и пешек. На них неодобрительно взглянула пожилая, румяная англичанка под клетчатым пледом, но тишина не нарушалась, и англичанка опять углубилась в свои письма. У нее была приспособлена деревянная подставка, чтобы писать лежа, и она писала непрерывно.

Эта англичанка строже всех относилась к порядку в санатории. Говорить она совсем не говорила, потому что болезнь ее была в горле, но взглядами смущала многих. Ей давно не

нравился молодой русский с его длинноватым, немного бледным лицом, с белокурой бородкой и откинутыми, волнистыми, как у девушки, волосами. У него были рассеянные, мало выразительные глаза и худые, белые руки. Англичанке казалось, что он недостаточно серьезно относится к лечению. Он раз даже гулял в парке. Зачем приезжать в санаторию, если не хочешь вылечиться? Такое поведение мешает лечиться другим.

Южная терраса, которая называлась «Vaccil-lentempе»<sup>1</sup>, благодаря взорам англичанки, была самой молчаливой, строгой и благовоспитанной. В павильоне «Gircus Club»<sup>2</sup>, в парке, было свободнее. Там лежали молодые американцы, в фесках, по форме павильона. Они иногда разговаривали между собой, хотя тоже немного. Была еще терраса или павильон «Обезьяны», с нарисованной обезьяной на флаге, и еще другие террасы и павильоны под разными названиями.

Дождик все шел. Складка маркизы слабо колебалась. Шадров, белокурый русский, кашлянул и повернулся на другой бок. Немая англичанка бросила на Дмитрия Васильевича злобный и строгий взгляд. Он его заметил, хотел улыбнуться, но не улыбнулся. К ужасу беспощадной дамы вдруг кто-то ответил на кашель русского сухим, не то старческим, не то детским покашливанием. Углубленные в свое молчание, в мысли о температуре, в напряженное ожидание здоровья, пациенты «Храма Бацилл» редко замечали, когда исчезал сосед, куда уезжал и какого клали нового. Но кашель заставлял подняться равнодушные глаза.

Рядом с русским, справа, лежала сегодня новая пациентка, под толстым серебристым пледом. Плед был дорогой, английский. Шадров, как и другие, взглянул на новую больную без любопытства. Но она, еще не привыкшая к тупому равнодушию больных, вдруг покраснела под их неожиданными взорами. Покраснела и опять закашлялась. Тогда все сразу отвернулись от нее и стыдливо, с ужасом, опустили глаза, точно она сделала что-то очень неприличное и нехорошее, и лучше этого не замечать.

Новая Пациентка не привлекла бы ничего внимания, если бы лежала смиренно, как все. Она не была красива. Тоненькая, худенькая, с нежным овалом лица, с желтоватыми детскими не то испуганными, не то задорными глазами, с остриженными, смешно торчащими волосами, – она походила на неблагонравного мальчика, которого наказали и которому не позволяют бегать. Лицо у нее было и старообразное, и очень моложавое, и никто бы не решил, сколько ей лет. Дмитрий Васильевич взглянул на нее мельком и опять отвел глаза. Где-то пробили часы.

## II

Лакей в мягких башмаках, с подносом на плече (он разносил после четырех больным молоко в тесно составленных стаканах), дойдя до Шадрова, сказал по-немецки, что его спрашивает дама из Гейдельберга.

– Из Гейдельберга? Попросите в приемную, пожалуйста. Я сейчас выйду.

Он сделал неторопливое движение, чтобы встать, но приехавшая дама уже спустилась со ступенек, ведущих на террасу, и шла у нему.

– Здравствуйте! – сказала она, улыбаясь и протягивая руку. – Пожалуйста, лежите! Я сяду около вас.

Дмитрий Васильевич приподнялся и дал место даме на своем длинном кресле.

– Очень рад вас видеть, – произнес он с равнодушной приветливостью. – Только не лучше ли нам все-таки пойти в приемную? Или в парк? Здесь мы можем помешать...

– Есть соотечественники?

---

<sup>1</sup> «Храм бацилл» (англ.).

<sup>2</sup> «Круглый клуб» (англ.).

– Нет, здесь нет, кажется... Но люди занимаются... Привыкли к тишине...

Злобная англичанка уже вперила в них огненный взор. Она ничего не понимала, но догадывалась, на каком варварском языке они говорят.

– Мы потихоньку, – сказала гостья и опять улыбнулась. – Мне не хотелось бы нарушать ваш день. Потом мы пройдемся и в приемную, и в парк. Ведь немного ходить вам позволено?

– Очень мало. Но я часто сам даю себе разрешение. Вы не думайте: я совсем не так болен и вовсе не слаб.

У него, действительно, был довольно здоровый вид.

– А вы, кажется, не удивились моему появлению? – спросила гостья, опять весело на него поглядывая.

Это была довольно высокая, полная блондинка, с широким, не лишенным приятности лицом, одетая хорошо, но совсем не кокетливо. Она производила впечатление скромной, милой дамы, но как-то сразу с ней делалось скучно и нечего было от нее ждать.

Дмитрий Васильевич не успел ответить, удивлен он или нет. С соседнего кресла, справа, послышался тонкий, резковатый голосок:

– Извините, пожалуйста... Но я должна вас предупредить, что понимаю по-русски.

В говоре едва уловимо, едва заметно, слышалось что-то чуждое.

Шадров и его гостья оглянулись на молоденькую больную, похожую на мальчика. На лице Шадрова мелькнуло неудовольствие. Но он вежливо приподнял круглую шляпу (по ней одной можно бы в нем узнать русского) и проговорил суховато:

– Очень вам благодарен. Мы вас беспокоим?

– О, нет! Пожалуйста. Но я думала... что вам, может быть... Вы не знали...

Она не кончила и покраснела и, кажется, рассердилась и на себя, и на них.

Гостья вмешалась и сказала приветливо:

– Да ведь мы не собирались секретов говорить. Как же это Дмитрий Васильевич сказал, что тут нет соотечественников? Ведь вы русская?

– Я? да... то есть нет, почти... – проговорила больная нерешительно. – И я здесь только сегодня... с сегодня, – поправилась она, и опять в ее говоре послышалось что-то нерусское.

Желая, вероятно, показать, что не намерена мешать разговору и не хочет стеснять, она взглянула исподлобья, не то хмуро, не то робко, и взялась за книгу.

Гостья опять вполголоса обратилась к Шадрову:

– Мне из Петербурга написали, что вы здесь. Что ж, удалось вырваться?

– Как видите. Ну, а вы, Нина Авдеевна? Все в Гейдельберге? Много работаете?

– Да, приходится. Я устроилась с сестрой. Друг другу не мешаем. Я с своими выписками, с переводами, она тоже. Ну, да что обо мне! Вот как ваше здоровье, Дмитрий Васильевич?

– Ведь вы знаете: схватил осенью плеврит. Выздоровел, должно быть, плохо. Нашли к весне туберкулез верхушек. Говорят, вылечиться можно. Да я умирать не хочу и не умру.

Он говорил с небольшой скукой и с чуть заметной насмешливостью, которая, может быть, была просто в его голосе, негромком и скользящем. Нина Авдеевна жадно и пристально вглядывалась в собеседника, не то желая, не то боясь подметить в нем какую-то внутреннюю перемену. Она его так давно не видала. Но перемены, кажется, не было. Тот же моложавый вид, те же не то сосредоточенные, не то рассеянные серые глаза, тот же скользкий голос. Нина Авдеевна всегда знала его таким – для нее отсутствующим. Но она и не ждала ничего для себя. И она спросила:

– А что ваша «История идеалов»? Выпустите ее брошюрой?

Шадров поморщился.

– Нет, зачем? Подожду. Отзывов было много. Студентам, впрочем, не нравилось.

– А у вас все те же официальные отношения со студентами?

– А то какие же? Я им читаю предмет, как мне кажется нужным. Они слушают. Не нравится – их дело, нравится – очень рад. Но я рад тоже, что лекции у меня не берут слишком много времени.

– Все по-прежнему? Сидите в своей бесконечной библиотеке? – сказала Нина Авдеевна и улыбнулась.

Он вдруг оживился, приподнялся на подушке и стал рассказывать, какую редкую книгу по истории он нашел перед отъездом и как ее приобрел.

– Представьте, у букиниста, на Васильевском острове. И важно что! что эта книга...

Но он вдруг остановился: молоденькая больная глядела на него своими желто-карими глазами. Он вспомнил, что она все понимает, и ему стало не то стыдно, не то противно, Нина Авдеевна, впрочем, слушала с восхищенным вниманием. Но он понизил голос, оглянувшись на злобную англичанку, которая была почти в обмороке от негодования, и прибавил по-прежнему полунебрежно, точно выкидывая Нину Авдеевну из круга своих интересов:

– Ужасно скверная была весна в Петербурге. Мама, впрочем, здорова.

Со ступенек в эту минуту сошел на террасу высокий, худощавый старик, еще очень бодрый, прямой и живой. У него были быстрые, бегающие глаза, совсем молодые, серая, коротко подстриженная борода и чрезвычайно ласковое, строго-ласковое выражение лица. На нем был черный сюртук, очень хороший, даже элегантный, и вместо пальто не то плащ, не то пелерина. Он зорко оглядел больных и направился в сторону Шадрова и Нины Авдеевны.

Навстречу ему тотчас же поднялась молоденькая больная. Серебристый плед упал с кресла. Она сказала ему несколько слов по-английски, очень быстро, взяла его под руку, и они ушли. Шадров невольно улыбнулся, поглядев им вслед: что-то комично-трогательное было в этой крошечной женщине в короткой английской юбке, с тонкими девичьими ногами – под руку с высоким черным стариком.

### III

– Пойдемте и мы куда-нибудь, ну хоть в приемную, – сказал Шадров своей гостье. – Дождь идет, а то бы можно и в парк.

Они поднялись в приемную. Это была полукруглая комната, одной стороной, сплошь стеклянной, выходившая в сад. Благодаря распахнутым настежь окнам и дверям в коридор по всей приемной гуляли нестерпимые сквозняки. В комнате не было ничего, кроме нескольких плетеных кушеток да мраморного столика. Изразцовый пол блестел холодно и чисто.

Тихий служитель, двигавшийся так медленно, что его трудно было отличить от больного, принес Нине Авдеевне кофе. Шадров подумал сквозь свою скуку, что все-таки жалко Нину Авдеевну: приехала из Гейдельберга, радовалась... И он сказал приветливее:

– Спасибо, что навестили... Здесь, в санатории, особенный воздух – какая-то удушливая тоска. Я совсем оступел. Пожалуйста, приезжайте еще, если найдете свободную минутку.

Полные щеки Нины вспыхнули от удовольствия и глаза стали добрее.

– Я приеду – сказала она торопливо. – Только вы поправляйтесь.

По коридору медленно, как тени, проходили больные. Дождик шел, не усиливаясь, так же беззвучно. Шадров молчал, не зная, что сказать еще.

– Ну, мне пора, – проговорила Нина. – К поезду опоздаю. Шадров встал. Подавая ему руку, Нина Авдеевна улыбнулась как-то криво и сказала неожиданно:

– Что ж... мы с вами давно не видались... Что ж... вы были счастливы за это время?

– Как прежде... вы же знаете, – произнес он спокойно. – Если хотите – счастлив. Стараюсь жить, как надо. Вот разве только не всегда знаешь, как надо.

– Все тот же догматик! – проговорила, улыбаясь сквозь нежданные слезы, Нина Авдеевна. – Все теории! Жизни не знаете, не хотите чувствовать попросту, без рассудка, без суда...

Она вдруг одушевилась и говорила долго, почти с пафосом. Шадров смотрел на нее своими невыразительными глазами и слабо улыбался.

– Помнится, вы меня всегда сухим и ограниченным человеком считали, Нина, – сказал он наконец. – Ну, что ж делать, каков есть.

Нина хотела крикнуть ему, как обвинение, что он никого не любил и не полюбит, но только подумала с горечью: «Он меня не понимает, как всегда, и не поймет».

Шадрову было жалко ее. У нее на шляпке откололся цветок, длинный, бледно-желтый, и покачивался в сторону. А она не знала и долго кивала ему головой, оборачиваясь, когда уходила от крыльца санатории. Шадров подумал, что она теперь пойдет по каменистой и трудной дороге к вокзалу, под дождем, под мутным, белым небом, с этим отколовшимся цветком на шляпе, а он не сказал ей даже пустого доброго слова, которое дало бы ей невинную, бесцельную радость. И даже того, как ему больно от жалости к ней, – она никогда не узнает. Отчего ему жалко? Ведь не оттого, что она любила и любит его, а он ее никогда не любил и не любит? Нет, теперь – не оттого, а от цветка на шляпе, о котором она не знает, что он откололся, от дождя, который падает на нее, от ее взора, беспомощного, горького и непонимающего. Оттого, что ему помочь нельзя, оттого, что тем, кому многое непонятно, все страшно и все больно.

#### IV

На другой день было то же самое – белое небо, сизая, глубокая долина, тихий, редкий дождь, складки полосатой маркизы и безмолвные люди под пледами, безмолвно и важно ожидающие выздоровления. Больная, похожая на некрасивого мальчика, уже удерживалась от кашля и внимательно, не отрываясь, читала желтенький французский томик. За столом высокий старик сидел около нее, заботливо наливал вино и называл ее просто Маргарет. Он был здоров, потому что не лежал, а, напротив, целыми днями исчезал из санатория, делал какие-то экскурсии.

Перед ужином, когда еще было светло, старик пришел на террасу, к самому креслу Маргарет, и стал говорить с ней. Он, очевидно, уезжал куда-то, просил ее беречься и аккуратнее измерять температуру. Голос у него был приятный, очень ласковый, со строгими нотками. Маргарет молча кивала головою. Старик жалел, что должен оставить ее, когда она еще не приобрела здесь знакомых, – и при этом взглянул мельком на Шадрова.

– Извините, – сказал Шадров, обернувшись вдруг, – может быть, я тоже должен предупредить вас, что понимаю английский язык?

Он сказал по-французски, ибо владел этим языком лучше и сказал совершенно невольно; у него не было никакой охоты знакомиться с этой странной четой.

Старик, вежливо улыбаясь, приподнял шляпу и произнес тоже по-французски:

– О, я очень рад! И я не сомневался, что вы говорите по-английски. После трудностей вашего языка – все остальные для вас легки. Я долго жил в России и знаю его немного, а миссис Сид и совсем хорошо говорит по-русски.

Шадров взглянул на старика, все еще не понимая, кто – миссис Сид. Но старик поспешил назвать себя: Эдвин Сид, служитель англиканской церкви. Больная была его жена, миссис Маргерет Сид.

– Теперь я покидаю санаторию на три дня, – ласково сказал мистер Сид. – Я еду в окрестности Висбадена, которые меня очень интересуют. Я надеюсь на благоразумие миссис Сид в мое отсутствие. Она очень благоразумна, несмотря на свою молодость. Не правда ли, Маргарет, вы будете в точности исполнять предписание доктора?

Маргарет, не улыбаясь, кивнула головой. Она, вероятно, была робка и вспыльчива.

«Однако, – подумал Шадров, – этот медовый пастор точно поручает мне своего остроглазого мальчишку. И зачем он упомянул о молодости? Будто заранее уверен, что я найду странным разницу их лет, и желает показать, что сам это отлично понимает».

Мистер Сид ушел и вероятно уехал. Сильно смерклось, как-то вдруг. Дождь припустил и тяжело зашлепал по гравию. С террасы стали уходить, к тому же и заревел гонг, призывающий к ужину. Он ревел, и звук равномерно усиливался, точно далекое чудовище все шире и шире раскрывало рот и доходило до последнего отчаяния.

Шадров сказал несколько вежливо-холодных слов Маргарет и прошел в столовую.

Столовая была громадная комната, человек на двести, без обоев, с потолком и стенами из одинакового темного дерева. К одной стене прилежала такая же темная деревянная лестница. Электричество давало белые, равнодушно-грустные свету.

В безмолвии, неслышными шагами стекались больные со всех террас, из всех павильонов. Они теперь были сразу в одном месте, – громадная, шевелящаяся толпа, – и еще страннее и страшнее казалось ее безмолвие. Они собрались кормиться, и хорошенько кормиться, потому что от этого должен увеличиться вес тела. Говорить вредно. Да теперь и нет жизни – теперь лечение. Прерванная жизнь начнется, когда будет побеждена болезнь. А для этого нужно думать только о ней и ждать в молчании и терпении.

Шадров рассеянно отыскал свое место и опустился на стул. Есть ему не хотелось после целого дня неподвижности.

Пользуясь близостью бледного электрического цветка, он вынул из кармана письмо, которое получил утром. Письмо было неприятное, – его следовало перечесть и что-нибудь предпринять.

И пока еще не подали первую партию нескончаемой ветчины из собственных санаторских свиной, откормленных до предела, – Дмитрий Васильевич принялся за письмо.

Ему писали, что мать его беспокойна, что сиделка Марья Павловна заболела, а другая, временная, не умеет с ней обращаться. Мать Шадрова была помешана уже восемь лет. Он не отдавал ее в больницу, потому что она всегда, еще предчувствуя, что заболеет, – боялась лечебницы. Она, впрочем, была очень тиха, мало говорила, свивала и развивала длинную тесемку и улыбалась. Привыкла к своей сиделке и к сыну, и беспокоилась только, если долго не видела того или другую. Жили она и Шадров в Петербурге, в двух небольших смежных квартирах. Шадров не чувствовал любви к матери, душа которой давно уснула; но он жалел ее бедное тело, – оно двигалось, ему было больно; жалел руки, дрожа свивающие ненужную тесемку, губы, улыбающиеся бессмысленно и светло.

Ему было неприятно думать, что она теперь плачет оттого, что нет Марьи Павловны и нет его, оттого, что переменили ее привычки, а она не может ничего сказать и ничем себе помочь. Ему захотелось поехать в Петербург, но было и досадно, что нельзя пожить в покое, до выздоровления.

– Вы получили нехорошие вести? – произнес вдруг кто-то около него, тихонько. Все так глубоко молчали, так беззвучно ходили лакеи, ни разу не задев тарелкой за тарелку, что даже этот тихий, как шорох, голос далеко скользнул по зале и заставил Шадрова вздрогнуть от неожиданности.

Благодаря двум исчезнувшим или уехавшим больным он был и за столом рядом с Маргарет.

– Вы чем-то недовольны? – опять спросила Маргарет, с настойчивостью и дерзостью робких, очень самолюбивых людей.

Она смотрела на него прямо своими острыми и невинными желтыми глазами. В коротких, чуть курчавых волосах мелькали золотые искры под лучами электричества. В иные минуты она вовсе не казалась молодой, с усталым лицом, без возраста. Но теперь никто бы не дал этому задорному мальчику больше четырнадцати лет.

Миссис Стид несколько не интересовала Шадрова и не нравилось ему, но теперь показалась забавной, и он улыбнулся.

Глаза его делались добрыми, когда он улыбался. Это зависело, вероятно, от тени, которую бросали сближавшиеся ресницы; но его улыбка ободрила Маргарет, и она сама улыбнулась.

– Почему вы угадали, что письмо неприятное? – спросил Дмитрий Васильевич.

Он был не очень общителен, совсем не болтлив и предпочитал не знакомиться и не говорить с новыми людьми. Но когда говорил, с родными или чужими, с новыми знакомыми или старыми, он говорил одинаково: равнодушно, открыто, обо всем без различия, что в данный момент интересовало его или его собеседника, и тотчас же прекращал разговор, с полной естественностью, когда прекращался интерес. Солгать или умолчать на прямо предложенный вопрос – ему еще никогда не представлялось нужды. Говорить то, что есть, – гораздо скорее, проще и легче, нежели выдумывать ради сложных соображений. И какие могут быть соображения? Что стоит труда быть скрытым? Ничто не стоит этого праздного труда. Пусть люди, как хотят, справляются со всякой правдой, с важной и неважной. Это им только полезно.

– У вас было такое нехорошее лицо, – сказала миссис Стид, – я и подумала, что вас, вероятно, что-нибудь раздосадовало. Это правда?

– Да. Меня тревожит мать в Петербурге.

– Она больна?

– Она всегда больна, но теперь ей хуже стало жить. Мне хотелось бы еще здесь остаться, а пожалуй, поеду в Петербург. Такая досада!

– А вам нравится здесь? – спросила Маргарет, повернув разговор, бессознательно смущенная простотой его ответов и собственной дерзостью.

– Нет, не очень. Но мне нужно поправиться. Отсюда тоже думал не сразу домой, а сначала посмотреть окрестности, побывать в Гейдельберге...

– А вы бывали уже в Гейдельберге?

– Был.

– Ах, у дамы, которая вчера приезжала?

Шадров не заметил странного тона, которым Маргарет предложила этот вопрос, и он ему вовсе не показался неуместным.

– Нет, я давно был. Она еще там не жила.

– Это ваша родственница?

– Это моя жена, – сказал он просто.

Маргарет расширила глаза и смотрела на него, медленно краснея. Он молчал, потому что она больше не спрашивала, и ел хлеб маленькими кусочками. Мысли его вернулись было к матери и досадному отъезду, но случайно он взглянул на Маргарет и опять улыбнулся: такая она была забавная в своем изумлении.

– Вы, кажется, удивились? – спросил он приветливо. – Что же тут такого для вас странного?

– Я... да! Мне странно. Я не думала, что эта вчерашняя дама – ваша жена. Вы с ней говорили, как с чужой.

– Да она мне в сущности и чужая. Жена, потому что мы с нею венчались в Петербурге лет десять тому назад и потом жили некоторое время вместе. Но мы давно не живем вместе и вот полтора года не видались.

– Значит, вы не любите ее, как любят жену?

Маргарет опять сильно покраснела, точно чувствовала, что нехорошо, неловко так спрашивать едва знакомого человека, знала – и не могла не спросить. Но Шадров сказал спокойно:

– Как кто любит?

– Как все любят! Она почти сердилась.

– Я не знаю, как все любят. Я думаю, впрочем, что все любят различно.

Маргарет показалось, что он над ней смеется. Но он не смеялся. Он увидел, что у нее слезы на глазах, что она запуталась, стыдится и боится, и ему стало ее жалко, точно споткнувшегося ребенка.

– Мы с моей женой разное думали и разное чувствовали, и жить вместе стало неприятно и незачем, тогда мы и разошлись, – проговорил он с ободряющей ясностью. – Мы с самого начала были разные, чуждые, и знали, что кончится, чем кончилось: то есть я знал, а она надеялась, что обойдется. Я ее много раз предупреждал, но она не хотела ничего знать, а просто верила, во что ей хотелось верить. Да что ж? Особенной беды ведь и не вышло. Все вернулось к старому.

Маргарет помолчала. Обносили последнее блюдо – какой-то замысловатый, обильный компот; от него Маргарет отказалась и вдруг опять обернулась к Шадрову.

– Послушайте, – сказала она серьезно. – Вы не сердитесь на меня, пожалуйста, за мои вопросы. Я понимаю, что это было нескромно и невоспитанно, и вообще не принято. Но мне так хотелось говорить с вами и узнать о вас что-нибудь. Я часто поступаю против всех условий, но не могу удержаться, а после мучаюсь. Но я не хочу, чтоб вы обо мне дурно думали.

– Я ничего дурного не подумал и несколько не рассердился, – сказал Дмитрий Васильевич искренно. – Это, действительно, не «принято» так расспрашивать, а принято вести сначала неинтересный, неинтересующий разговор, приглядываться исподтишка друг к другу, не зная еще, чего стоит этот новый человек: любви или ненависти. Но если для кого-нибудь все люди равны, и он не располагает заранее полюбить или возненавидеть, – тогда и выслеживать друг друга не нужно. Если бы мне казалось, что вам не должно меня расспрашивать, я бы и не отвечал, но я вам отвечал, значит, тоже поступал так, как не принято, был с вами заодно. Только я при этом не мучился, потому что не видел дурного, а вы мучились, хотя дурного нет. Вы рассудите, подумайте, вот и выйдет, что вы делали хорошо, а потом вдруг попросили прощенья – и сделали нехорошо.

Он произнес эту речь полуплутливо и полусерьезно. Маргарет сидела, задумавшись, с опущенными ресницами. Она не заметила, что больные бесшумно исчезали из столовой, один за другим.

– Пойдемте, – сказал Шадров, приподымаясь. Маргарет вздрогнула, подняла глаза и быстро встала.

– Мы последние, – усмехнулась она.

И прибавила неожиданно, прощаясь с ним на лестнице:

– Хорошо, будем друзьями, – я понимаю. И если вам покажется когда-нибудь нужным, интересным меня спросить – спрашивайте обо всем, о чем захотите. Я буду, как вы. Это очень хорошо.

Последнюю фразу она сказала почти с акцентом, и вообще, когда волновалась, она говорила не очень чисто.

Шадров, покинув ее, еще зашел на минутку в пустынный, слабо освещенный салон и сел к черному открытому окну.

«А ведь она нерусская», – подумал он мельком о Маргарет. И тотчас же мысли его перебежали на досадную причину его скорого отъезда, скользнули мимо и сосредоточились, связно работая, на том, о чем он чаще всего думал, на книге, которую приготавливал давно, и конца которой еще не было видно.

## V

Дмитрий Васильевич женился на Нине Авдеевне из жалости. Когда она сказала ему, совсем неожиданно, что любит, когда он увидел ее искаженное горем и мукой лицо – ему стало больно и захотелось ей помочь. Он не любил ее – она это знала. Она понемногу, стараясь

приспособиться к нему и к жизни, выработала себе удобное убеждение, что одни люди живут чувствами, другие – рассудком, и уж тогда им и не надо чувствовать, чтобы не изменять себе; таким она считала Дмитрия Васильевича и хотела только, чтоб он не мешал ей его любить.

Шадров верил, что любовь – может быть прекрасна; жалость к страданью Нины Авдеевны мучила его. И он захотел помочь ей, чем возможно.

Он думал в то время, десять лет тому назад, что следует, – с равнодушием наивозможно большим, равным к себе и другому, – уменьшать страдание, где бы оно ни встретилось. Что оно стоит на дороге – об этом дает знать острая, досадная жалость, которая вдруг впивается в душу. Она просит есть, жалость, и до тех пор кричит, пока ей в пасть не кинешь добычи.

Но, живя и думая дальше, становясь старше, Дмитрий Васильевич начал понимать, что иногда нельзя облегчить страдания, а иногда и не нужно. Жалость – наивна, ее легко обмануть; она кричит, надоедает, как упрямый ребенок, но ее можно успокоить, только делая вид, что помогаешь, унимаешь чужую боль; и даже от этих поверхностных действий жалость умолкала, сося брошенную корку. Но Дмитрий Васильевич, поняв это, старался больше не лгать своему сознанию в сознании, а покорно терпеть укусы жалости, когда ему стали встречаться страдания, которых не надо, нехорошо облегчать.

Жизнь его с Ниной Авдеевной распалась через год. Не было вражды, ссор: было только отупение и сознание – в нем – полной ненужности этой совместной жизни. Нина Авдеевна уехала за границу. Вероятно, все-таки в душе она считала себя правой, а его виноватым и смутно надеялась, что они еще сойдутся.

Шадров давно перестал жалеть ее за ее любовь. Эта любовь, которой она старалась быть верной, не сделала ее ни выше, ни ниже. Думая, что приближается к Дмитрию Васильевичу, она незаметно отучилась от искренности перед собою, изменяла, ради выдуманных мыслей, первым простым порывам своего простого, человечески теплого, слабого сердца и сама порою пугалась своей «смелости», и любовалась ею. Дмитрия Васильевича это и печалило, и раздражало. Раздражало сознание полного бессилия объяснить ей это так, чтобы она поняла.

Был жаркий и яркий день, когда Шадрову опять сказали, что приехала Нина Авдеевна. Длинное кресло Дмитрия Васильевича стояло сегодня не на террасе, а на лугу, за кустами, недалеко от столбов невинной игры для выздоравливающих – кольца на веревочке. В отдалении лежал еще один больной – желчный немец с газетой. Из рта у него торчала светлая головка термометра. Обязанность ставить каждый час новоизобретенный тоненький термометр под язык, конечно, тоже очень мешала больным вести разговор, и усиливала тишину санатории.

Шадров увидел Нину Авдеевну издали, полную, свежую, довольную и взволнованную, и подумал опять с невольной печалью и раздражением:

«Ведь вот она любит меня и обеспокоится, когда я скажу, что должен уехать отсюда, не поправившись, и первый порыв ее будет – поехать вместо меня к матери, за которой она так хорошо умела ухаживать, пока не решила, что это – жертва, а сильный человек не должен приносить жертв. Как будто есть жертвы, как будто я принимал когда-нибудь ее жертвы! Но неужели любовь ко мне так изломала ее душу, сделала всю ее такой неискренней перед собою?»

Нина Авдеевна, с ярким румянцем на щеках, подошла ближе и протянула Шадрову свою очень большую, очень белую руку с ямочками около пальцев.

– Ну, здравствуйте! Скоро я приехала? Не соскучились?

Все случилось именно так, как предполагал Дмитрий Васильевич. Когда он рассказал ей в нескольких словах, почему должен уехать, Нина Авдеевна ужасно встревожилась, обеспокоилась, принялась выдумывать разные средства помочь горю не уезжая, – под конец даже стала развивать мысль, что Шадров не имеет права жертвовать своим здоровьем ради матери.

Шадров молчал. Нина заметила его раздражение и сама замолчала, взволнованная, обиженная. Через минуту она, желая повернуть разговор и сделать Дмитрия Васильевича ласковее, сказала:

– Ну, а как подвинулась ваша книга? Много написано?

Дмитрий Васильевич не стал ласковее. Он не любил говорить с Ниной Авдеевной о неконченных работах.

– Я здесь не работаю.

Но Нина Авдеевна не унималась.

– Все-таки начало сделано, первая часть кончена?

Дмитрию Васильевичу это приставание было очень неприятно; однако он собрался что-то ответить, когда за кустами по гравию заскрипели торопливые легкие шаги, и через секунду на луг почти сбежала миссис Свид. Она была в белом пикейном платье, удобно и широко сшитом, и в белой шапочке с помпоном на коротких, смешно кудрявившихся волосах. Недлинная юбка открывала тонкие ножки в светлых ботинках. Ее можно было бы принять за девочку – больную, потому что цвет лица у нее был не очень свежий, утомленный.

– Вы здесь? – спросила она Шадрова, приближаясь и еще не видя Нины Авдеевны. – Как хорошо! Я тоже велю принести сюда мой стул... la chaise longue<sup>3</sup>. Хорошо? Можно?

Она говорила почти без робости. В два дня она немного привыкла к Шадрову и перестала его дичиться.

– Мистер Свид еще не приезжал.

Служитель показался из-за кустов с креслом Маргарет. Она заметила Нину Авдеевну, смутилась и нахмурилась. Но через мгновение улыбнулась и медленно приблизилась.

– Мы, кажется, знакомы? – обратилась она к Нине с вежливостью.

Шадров назвал обеих дам, причем у Нины Авдеевны пробежала тень изумления по лицу, – так не шло к Маргарет чопорное и почтенное «миссис».

– В первый раз встречаю англичанку, которая прекрасно говорит по-русски, – с чуть-чуть сладкой любезностью сказала Нина. Она поняла, что Шадров за эти дни ближе познакомился с забавной больной, но еще не знала, как она ему нравится, а потому не могла решить, нравится ли она и ей.

– Я не англичанка, – произнесла Маргарет резковато. Она уже успела лечь в свое кресло. Пледа ей не принесли, и она без кокетства, но как-то трогательно скрестила, протянувшись, ножки, которых не закрывала слишком короткая юбка.

– Я англичанка по матери и русская по отцу, – продолжала она, – но матери я не помню, а с отцом... я была всегда вместе до пятнадцати лет... И мы всегда говорили по-русски, хотя жили в Лондоне. С тех пор, с пятнадцати лет, я, верно, забыла много... Но все-таки это мой родной язык.

Шадров заметил, что с неожиданным вниманием прислушивается к ее словам. Они говорили раньше о многом, но не о самой Маргарет; Дмитрию Васильевичу ни разу не приходило в голову спрашивать ее, – а теперь его вдруг заняло, откуда и кто этот странный зверек.

В ней была черта, тревожившая его, потому тревожившая, что он не мог для нее придумать никакого простого объяснения. Рядом с разумными, очень здравыми, порой даже неглупыми суждениями, чуть не с практичностью, в Маргарет была грубая наивность, такая грубая, что он сначала несколько не усумнился, что это – наивничанье. Но потом именно эта грубость и стала его удивлять; такое наивничанье некрасиво и неумно; он не видел в нем ни цели, и никакой возможной причины; он не замечал в ней тени лживости и хитрости; и чуть он говорил себе, что вот теперь она кривляется, – получалось в мыслях о ней такое несоответствие, что ему становилось досадно и скучно, как всегда бывает досадно и скучно видеть, что не можешь решить задачу, которую даже и не очень нужно решить, но за которую принялся.

---

<sup>3</sup> шезлонг (фр.).

Итак, думать, что она кривляется, лжет и наивничает, – он не мог, потому что выходила внутренняя бессмыслица; но думать, что миссис Стид искренна в своей грубой наивности десятилетней девочки, – он тоже не мог, потому что выходила внешняя бессмыслица.

Все это Шадров сказал себе с ясностью только теперь и встрепенулся, вслушиваясь в то, что говорила Маргарет. Кто она? Как она жила раньше?

Когда она замолчала, он хотел спросить ее подробнее, но удержался, подумав, что лучше спросить без Нины Авдеевны.

Но Нина Авдеевна спросила сама с любопытством:

– А вы так и не были в России?

– Еще ребенком, кажется – да; но я ничего не помню. Я хотела бы поехать в Россию... Мистер Стид боится сурового климата для меня. Мы все-таки поедem, когда я поправлюсь: он мне обещал.

– Pardon<sup>4</sup>, если мой вопрос нескромен, – продолжала Нина Авдеевна, – но... вы давно замужем?

Маргарет добродушно рассмеялась:

– Отчего нескромен? Его мне многие предлагают. Находят, что мистер Стид и я – не пара, что он слишком стар для меня. Мне двадцать один год, а вышла замуж я семнадцати.

Даже раньше семнадцати немного. Но я вовсе не считаю мистера Стида стариком. У него с тридцати лет, кажется, седые волосы. Он очень много пережил, много и путешествовал: в Индии жил, в России... Ему всего сорок четыре года; на вид он старше. Конечно, разница лет между нами большая, к тому же он такой спокойный, сильный, положительный... А я, напротив... я... – она искала подходящего слова для себя и не нашла, – я напротив; да и жизни не знаю, и больная... многие удивляются, видя нас мужем и женою. А между тем это случилось так просто... Мне было совсем неразумно не выйти за мистера Стида. Я ему всегда буду благодарна. Это самый благородный человек, которого я знаю.

Шадров опять хотел что-то сказать, и опять его предупредила Нина Авдеевна, спросив уже без извинений голосом живейшего любопытства:

– В самом деле? Это случилось так просто? Но ведь вы были почти ребенок... Вы не могли хорошо знать вашего будущего мужа.

– Напротив, это единственный человек, которого я хорошо знала. Мы с отцом, хотя жили в Лондоне, почти никого не видали, никого не принимали. Мы жили вдвоем; отец не отдал меня и в колледж – сам учил. Последний год, впрочем, я брала уроки пения... И у нас бывали только мистер Стид и его сестра, старая девушка. Мистер Стид был еще другом моей матери. И она, говорят, умирая, просила его не оставлять меня. Отец мой... хотя был нелюдимый, неразговорчивый, позволял мистеру Стиду навещать нас, он только сам уходил к себе, а я оставалась, и мы говорили. Потом... отец умер, внезапно...

Маргарет остановилась на мгновенье, точно ей было трудно это выговорить, но тотчас же продолжала ясным и ровным голосом. Серые глаза Шадрова смотрели на нее внимательным неотрывным взглядом, и она чувствовала что ее слушают.

– Так вот, отец умер. У меня совершенно не было денег, отец нигде не служил – ведь он был не на родине... И он ничего не оставил мне, а зарабатывать я не могла, потому что у меня не было никаких дипломов и не знала я никого в Лондоне, а к тому же и заболела воспалением легких, которое перешло в катар. Я была несчастная, на всю жизнь слабая и больная, беспомощная. Мистер Стид был моим опекуном. Он перевел меня в Шотландию, к своей сестре, ухаживал за мною сам, ничего не жалел для меня. Тут я его узнала и поняла, что он меня любит до самопожертвования. Когда сестра умерла, мне нельзя было у него жить, – это бросило бы тень на него, – и опять я осталась на улице; тут он и предложил мне обвенчаться. Я плакала и не

---

<sup>4</sup> Извините (*фр.*).

соглашалась, потому что мне казалось, что я недостойна такой жертвы, но потом он уговорил меня. Он говорил, что любит меня так, как я еще не могу его любить, потому что у меня нет ни воспитания, ни опытности, никакого знания жизни, никаких жизненных принципов. Но что его дело дать мне все это, что я его полюблю действительно, и он будет ждать этого. Но я его и тогда уже любила... и теперь я... очень, очень люблю и уважаю его.

– Значит, он дал вам все, что обещал, – и воспитание, и жизненные принципы? – с чуть заметной усмешкой спросил вдруг Шадров.

Маргарет вспыхнула, почувя в вопросе что-то неожиданно холодное.

– Не знаю, – произнесла она другим тоном, почти сухо. – Знаю, только что я обязана мистеру Стаду почти своей жизнью.

– О, я вас вполне понимаю! – душевно сказала Нина Авдеевна. – Конечно, мистер Сид незаурядный человек. Но все-таки меня удивляет его смелость. Ведь вы были... ну, точно неразрезанная книга. Он знал, что вы не можете его любить, как он вас любит, потому что, верно, и не знали, как нужно любить. Ведь вы не начинали жить, вы сами говорите. А если вам в жизни суждено было встретить человека... ну, которого вы бы сразу полюбили больше, чем мистера Сиды? Как же отвечать за всю жизнь? Вы связали себя, когда еще не сознавали важности этого шага...

Маргарет вдруг густо покраснела, опустила глаза, но тотчас же овладела собою и сказала:

– Мистер Сид сказал мне... что это «несчастье» может случиться... пока я еще не найду себя, не разработаю окончательно твердых принципов жизни. Что я буду тогда совершенно свободна делать все, что хочу... Потому что он знает мою натуру и уверен, что я, испытав разочарования, вернусь на правдивый путь. И тогда я пойму его, и мы будем воистину вместе. Так он сказал. Но зачем думать об этом? Если б не он – я никогда не вышла бы замуж, ни за что. И если мне суждено полюбить кого-нибудь особенной... сильной любовью... о которой говорится... то почему я не полюблю ею именно мистера Сиды? Разве это не самое естественное? Почему же не может так случиться?

В этом вопросе вдруг послышалась совсем детская робость и беспомощность, и боязливое смущенье. Она медленно подняла глаза на Нину Авдеевну, точно ждала, что она ее успокоит.

Но Нина Авдеевна рассмеялась.

– Нет, милая миссис Сид, вы и до сих пор еще ребенок. Вы рассуждаете, как двенадцатилетняя девочка о некоторых вещах. Ваш муж, вероятно, тоже любит уединенную жизнь?

– Совсем нет. В Лондоне у нас много друзей, мы часто путешествуем. У мистера Сиды громадная библиотека, но, конечно, я читаю только книги, которые он мне советует прочесть. Я ему вполне верю. Меня считают немного странной... наши друзья; но ведь моя жизнь с самого начала так особенно сложилась. Мне много еще нужно работать над собой...

Она не договорила, точно ей вдруг стало совестно, что она все время рассказывает о себе. Брови ее сдвинулись, бледный рот сжался.

Нина Авдеевна со снисходительно-доброжелательной и любопытной улыбкой стала ее еще о чем-то спрашивать, не унимаясь, хотя Маргарет отвечала уже нехотя и односложно. Шадров отвел глаза от Маргарет и смотрел прямо, на синее-синее, жаркое небо, такое синее, что густые деревья парка были перед ним совсем черные; глубокая долина внизу, вся ясная, ровно и покойно уходила в небо; даже сизой дымки не было на ней; темные купы деревьев, холмы, далекие, красивые города, тонкая извилина реки, сверкающая огнем, – все было ясно и просто под солнцем; но даль от ясности не сделалась более близкой, менее прекрасной; простор казался безграничным, соблазнительным, соблазнительнее, чем под сизой, душной пленкой, которая делает очертанья лживыми и потому ненужными, не влекущими. В этот явный простор хотелось броситься, войти в него, чтобы он вошел в тебя, чтобы за плечами шумели длинные, широкие крылья, и не было им усталости, и не было их силам предела...

Но человеческая жалость, совсем неожиданная, ласкала сердце Шадрова. Она не колола, а ласкала, потому что вместе с нею пришло чувство радости от понимания, от вдруг зажегшегося света внутри. Эту радость он испытывал всегда, когда вдруг приходило понимание. Было ли то пустяк или важное, внутреннее ли объяснение какого-нибудь жизненного, даже чуждого ему события, или совсем новая мысль, освещающая его заветную работу, – одинаковая радость приходила, такая, от которой сердце вздрагивает, когда в очень темной, черной комнате вдруг зажгут огонь. Ничего не было, совсем ничего – и все стало сразу, и все стало твоим.

Шадров понял бедного, странного зверька, до которого ему, в сущности, не было никакого дела; но он понял и обрадовался, любясь игрой и гармонией жизни, каждый раз чудесной, более сказочной, чем сказка. Он видел эту бедную девочку, маленькую и болезненную, вдвоем с угрюмым отцом, русским в Лондоне, живущим как затворник; и она живет, точно принцесса в башне, которую до шестнадцати лет прятали от солнечного света; ей даже не рассказывают о солнечном свете, только благородный мистер Стид приходит к ней и говорит благородные слова о «жизненных принципах». Она принимает их на веру, потому что не знает неблагородных. Но вот злая фея ножом прорезала черную завесу окна в башне – и на принцессу упал солнечный свет; она не привыкла к нему, он бы сжег ее, если б не явился мистер Стид: он спас ее, и взял ее, и пройдет с ней весь путь, заставит эту, уже созданную, но еще не проявившуюся душу проявиться так, как он захочет.

– А кто он?

Этого Шадров не знал. Опять с глубокой, тихой жалостью посмотрел он на Божье создание, еще такое чистое от рук человеческих. Ему подумалось:

«Если не обовьет ее темную силу паутина жизни – она может спастись».

## VI

Везде с тех пор, на лугу ли в жаркую погоду, на террасе ли, когда шел дождь, кресло Маргарет стояло около кресла Шадрова. Они и говорили, и молчали вместе. Отъезд Шадрова был назначен через пять дней, Нина Авдеевна обещала приехать до тех пор. Мистер Стид прислал письмо, где, по словам Маргарет, извинялся, что запоздал, и просил у жены разрешения, если она не чувствует себя хуже, остаться в Висбадене еще несколько дней: он нашел вблизи интересующие его развалины.

– Я очень рада, когда что-нибудь ему понравится, – говорила Маргарет. – Я ему написала, что он может остаться там, сколько хочет, что я чувствую себя прекрасно, не скучаю, хорошо познакомилась с вами и не бываю одна.

– Вы думаете, мистер Стид помнит меня? Тут столько больных.

Шадров почувствовал, что сказал это неискренно, – он был уверен, что мистер Стид его отлично запомнил.

– Еще бы! – подтвердила, смеясь, миссис Стид его мысли. – Он помнит каждого человека, которого видел хотя бы мельком. А про вас он сказал... как-то давно, когда мы едва говорили с вами... что вы... that you are very fascinating<sup>5</sup>, – кончила она вдруг по-английски, торопливо, – и покраснела, нахмурившись, как всегда, когда бывала недовольна собой.

Разговаривая чаще с Маргарет, Дмитрий Васильевич убедился мало-помалу, что она вовсе не совершенна в своей наивности и незнании жизни, как он поспешил себе представить. Четыре года жизни с мистером Стидом, среди его друзей, в среднем, очень смешанном обществе Лондона, научили миссис Стид кой-какой сдержанности, дали понятие о практичности добра и непрактичности зла, показали, внешним образом, как живут другие люди. Но были,

---

<sup>5</sup> вы так истинно обворожительны (англ.).

конечно, стороны жизни, относительно которых миссис Свид проявляла полную наивность, казавшуюся Шадрову и прежде слишком грубой для того, чтоб быть притворной.

Дмитрий Васильевич, говоря с нею, отделял мысленно мистера Сvida в ней от нее самой и старался угадать этого неизвестного – и почти известного ему человека.

– Вы часто бываете в англиканской церкви? – спросил он раз.

Она удивилась.

– Я? Зачем? Да я и не англичанка. Я русской веры, я думаю. Впрочем, я и в русской церкви не бываю. Мой отец там тоже никогда не бывал.

– А как же мистер Свид? Он огорчен, что вы нерелигиозны?

– Мистер Свид не насилует моих убеждений, – почти с гордостью сказала Маргарет. – Он, напротив, одобряет во мне отсутствие лицемерия.

Это показалось странным Шадрову. Он вдруг потерял мистера Сvida, благородного, сильного мистера Сvida, который уверен в своих путях и ждет четыре года любви молоденькой жены, медленно подготавливая ее к этому, созидавая ее душу, убежденный, что любовь к нему не может не явиться в конце концов. Но почему же он для этого не рассудил взять в помощники Бога, он, который, вероятно, всегда считал для себя Бога большой опорой? Он ведь чуть ли не миссионером служил. Или в Маргарет есть и свои силы? Есть, да, но ведь они слепые, немые, и чем они больше, тем только легче мистеру Сvidу давать им желаемое направление.

Они лежали опять рядом на двух соседних креслах, на лугу. День был душный, мглистый. Уже прошла одна гроза и надвигалась другая, очень медленная. Первая оставила только большие сверкающие капли на деревьях и траве, да густую, тяжелую влажность воздуха.

– Я боюсь грозы, – сказала Маргарет.

– Бойтесь? Чего же? Бойтесь, что она вас убьет?

– О нет! Я никогда не думаю о смерти. Просто боюсь, без всякой мысли.

– Вам, должно быть, нравится бояться? А по-моему, это стыдно бояться, и стыдно не понимать.

– Отчего стыдно? – удивленно сказала Маргарет.

– Мне всегда стыдно, когда я боюсь чего-нибудь, не понимая; и я так хочу понять, что мучаюсь, пока не пойму. А вам точно все равно. Бойтесь, трусите – и довольны.

– Нет, неправда! – горячо произнесла Маргарет. – Я не хочу бояться. Но я не умею думать. Когда гроза, – я рассуждаю, что нечего бояться, но не могу понять, почему боюсь, – и все-таки боюсь.

– Это нервы, – сказал с усмешкой Шадров. – А нервы всегда в нашей воле, когда разум ей помогает. Вы не умеете думать, поэтому никогда и победить себя ни в чем не сумеете.

Она взглянула на него исподлобья, как зверек, которого дразнят и который собирается кусить. Но вместо возражения вдруг улыбнулась и сказала:

– Так вы научите меня думать. Я в самом деле не умею. Мне, чтобы понять что-нибудь, надо сначала почувствовать – тогда я и рассуждать могу. Много я порой и приму, и повторяю сама, а знаю, что не понимаю, что это мне чуждое. Но в том, что вы иногда говорите, – для меня странном, новом, даже обратном тому, как меня приучили думать, – я чувствую правду – и понимаю, и это становится моим.

– Но ведь почувствовать совсем еще не значит «понять», – тихо сказал Шадров. – Для того, чтобы понять – это последнее – надо и почувствовать, и познать. Но это великий труд и великая мука.

– Что это значит?.. Вот, какой вы другой: вы всегда думаете. Может быть, тогда уже не умеешь чувствовать?

Эти робкие слова вдруг напомнили Шадрову Нину Авдеевну. Ему стало скучно, и он повернул разговор:

– Осталось четыре дня до моего отъезда. А вы долго еще пробудете здесь?

Маргарет испуганно взглянула на него и, точно не слыша, что говорит, пролепетала:

– Я?.. Сегодня четверг?

– Да. Сейчас, вероятно, придет моя жена, – сказал Шадров, вспомнив, что Нина Авдеевна обещала быть в последний раз в четверг, и желая что-нибудь сказать.

– Ваша жена? Вы ее давно ждете? Я вижу.

Шадров с удивлением посмотрел на Маргарет. Она приподнялась в кресле, обернулась и глядела ему в лицо переменявшимися глазами, желтыми, полными злобы. Бледные губы дрожали.

– Что с вами? – невольно проговорил Шадров. – Вы больны? Грозы испугались?

В его голосе не было насмешки, но глаза Маргарет сверкнули еще ярче при последнем вопросе.

– Н-нет... не испугалась грозы, – произнесла она сквозь зубы. – Ничего, решительно ничего.

Она откинулась на подушки и прибавила более ровно:

– Так... Знаете, мне не очень ваша жена нравится. Шадров, еще удивленный ее внезапной резкостью и злобой, молчал.

– Вам это все равно, что ваша жена мне не нравится? – настаивала Маргарет. – Или вы сердитесь, что я вам это говорю? Тогда извините меня, пожалуйста.

Шадров пожал плечами.

– Бог знает, что с вами, миссис Свид! Гроза в самом деле расстраивает вам нервы. Почему вы меня спрашиваете, не сержусь ли я, что вам моя жена не нравится? Да пусть себе. Только я не понимаю, что в ней может вам так особенно не нравиться? Вы ведь говорите это прямо с враждебностью.

– А вам она нравится?

– Не могу сказать, чтобы она мне «нравилась» – это не слово, но и враждебности к ней у меня нет. Мы просто чужие – я ведь вам говорил; но, впрочем, я желаю ей всего хорошего.

– Чужие... а однако ждете ее... – почти шепотом произнесла Маргарет точно про себя и сейчас же прибавила с детским порывом искренности: – Нет, простите меня, даже если не сердитесь. Я знаю, у меня странный характер, я дикая. Вдруг возненавижу кого-нибудь, и сама не рада. Вы правы; если рассудить, то Нину Авдеевну вовсе не стоит ненавидеть. Помните, вы сами говорили, что так мало людей, достойных ненависти! И вот, ваша жена...

– Я тогда не думал о Нине Авдеевне, – возразил Шадров, пытаясь ее перебить. Он услышал за кустами скрип гравия и шелест шелковой юбки. Ему не хотелось, чтобы его жена подошла во время разговора о ней. Но Маргарет тоже уловила шаги и замолчала, покраснев. Она краснела очень часто: и когда смущалась, и когда сердилась; краска бежала под тонкой кожей от висков, розовели щеки и лоб, все лицо сразу делалось свежее и красивее, несмотря на сдвинутые брови.

Она спустила ноги с кресла, поправила свое легкое синее платье с большим белым воротником и перевела ожидающий взор на кусты. Короткие волосы ее сбились от лежания и смешно кудрявились; она особенно походила сегодня на мальчика, злого и хитрого.

Через секунду действительно на лугу показалась Нина Авдеевна. Она улыбалась, но вдруг, встретив недобрый взгляд Маргарет, – удивилась, даже остановилась было.

– Здравствуйте, – сказала весело, необычайно приветливо Маргарет, вся преобразившись, вставая ей навстречу. – Как я рада! Что, гроза вас застала на пути?

Она была так мила, так крепко, дружески, пожала руку гостье, что Нина Авдеевна забыла о злых глазах, которые ее встретили, уверенная, что это ей показалось. Шадров удивился опять. Притворство Маргарет было ему непонятно и не нравилось. Он, впрочем, ожидал, что она скоро уйдет и оставит его и Нину Авдеевну, которую так нелепо возненавидела: однако этого не случилось. Маргарет была весела, как никогда, даже остроумна; она развеселила и Нину Авде-

евну, которая приехала в томном, грустном настроении: ведь она видела Шадрова в последний раз.

– Вы останетесь ужинать в санатории, не правда ли? – спрашивала, улыбаясь, Маргарет. – Ну, так мы увидимся, будем сидеть рядом! А теперь я пойду переодеться...

– И тут неизменные английские обычаи?

– О, нет! Но все-таки это платье слишком просто... Вы любите шампанское? Будем пить шампанское! Пожелаем вместе доброго пути monsieur Дмитрию! Идет?

– Разве больным это позволено? – удивилась Нина Авдеевна. – Ведь, кажется, доктор сидит в конце стола?..

– О, вреда это нам не принесет! А от других, – чтобы никто не заметил, что нам весело, – мы потихоньку! Можно поставить бутылку на пол, около стула. Мы раз так уже делали с мистром Стидом. И он, и я любим шампанское, и никто ничего не заметил...

Она стояла перед ними, розовая, слишком веселая, похожая на шаловливую молоденькую мисс со своим белым воротником и широким кожаным поясом. Нина Авдеевна улыбалась, соглашаясь. Шадров тоже улыбался, но он глядел иначе: он видел ложь, и она была ему неприятна и непонятна.

Когда Маргарет ушла, Нина Авдеевна вздохнула:

– Наконец-то! Она очень мила, неглупа и любопытна, эта замужняя девочка – но а la longue утомительна. Я уже боялась, что она не уйдет, а мне нужно с вами о многом переговорить. Это вы по целым дням с ней? Пастор, вероятно, не приехал, – достойный и добродетельный мистер Стид?

– Нет, не приехал, – вяло сказал Шадров и с тоскою подумал:

«О чем это она со мною говорить хочет? О книге опять, что ли? Или о наших отношениях, которых нет?»

Оставшись наедине с Ниной Авдеевной, Шадров почувствовал скуку, такую захватывающую, что слова остановились у него в горле и не выходили. Он и прежде испытывал, сидя с ней вдвоем, скуку; но сегодняшняя была какая-то необыкновенная, похожая на тоску. В темнеющем влажном воздухе он видел перед собой полную, большую фигуру, неловко скорчившуюся на низеньком стуле. Белыми, широкими руками, точно сделанными из пшеничного теста, она поддерживала, боясь мокрой травы, подол своего светлого платья с тугим корсажем и длинной юбкой. Шадров, точно в первый раз, заметил ее ноги, очень большие и плоские, грубо обутые. Нина Авдеевна не занималась собою и совершенно не была кокеткой. Она всегда знала, что ее наружность не нравится Шадрову.

Она даже выработала себе убеждение, что внешняя привлекательность – дело второстепенное.

Шляпа на Нине Авдеевне была все та же, с большими полями, но отпоротившийся цветок она уже прикрепила, и Шадров на этот раз не чувствовал никакой жалости к своей жене. Он ждал, о чем она станет говорить, сердился на себя за беспричинное к ней недружелюбие и давал себе слово быть терпеливым.

Нина Авдеевна помолчала немного и заговорила об его здоровье, о своем беспокойстве, о том, как хотела бы она ему быть нужной...

«Ну вот, – подумал Шадров. – Вот и об отношениях».

А Нина Авдеевна уже поясняла свою мысль; нужной не в грубом смысле, не во внешних условиях жизни – нужной внутренне, нужной в минуты, когда человек наиболее чувствует свое одиночество, в минуты духовных проявлений, работы мысли...

Шадров молчал.

Взглянув в его серьезное лицо, потемневшее под вечерними тенями, Нина Авдеевна замолкла на минуту, потом прибавила:

– Вы – человек мысли, рассудочный, теоретический, чуждый всякой стихийности. Ваша сила именно в вашей теоретичности. Но такой человек должен воспринимать тепло непосредственного чувства от другого, отдающего ему душу. А чтобы отдать душу – надо уметь понять человека, как я вас поняла.

Она замолчала и ждала ответа.

Совсем стемнело. Шадров опять смотрел на белое, большое пятно на низеньком стуле и знал, что ему надо что-нибудь сказать. Было бы глупо обижать ее молчанием только потому, что ему скучно возражать. Он подумал и сказал лениво:

– Почему вы говорите, милая Нина, что именно в моей неспособности чувствовать (если она есть) – моя сила? Вы мне указываете мою слабость, односторонность, а не силу. И как же вы, другой человек, могли бы пополнить недостающее? Вы не умеете рассуждать, Нина.

Она не ответила. Шадров продолжал еще ленивее:

– Конечно, я не знаю и могу ошибаться, но мне кажется, что в вас нет той цельности, которую вы себе приписываете; в вас есть немножко и непосредственных чувств, немножко и мысли, как почти во всех других. И вот это-то для вас и плохо, что понемножку. Вы не сердитесь, Нина, я не хочу вас обижать. Я, может быть, в тысячу раз слабее и негоднее вас, и наверно слабее и негоднее, если действительно, как вы думаете, не способен ни на какую живую душевную боль, которую называют чувством. Потому что сознание, разум – это только свет, а зачем свет, если нечего освещать?

Было совсем темно. Шадров не заметил, что на глазах Нины Авдеевны выступили слезы. Она им внутренне обрадовалась: такие невольные слезы простой душевной боли доказывали непосредственность ее чувств. Ей в самом деле было немного больно, хотя боль умерялась привычкой к ней. Шадров, единственный человек, которого она любила (и чрезвычайно уважала себя за эту любовь, считая ее в высшей степени «красивой» – Шадров опять говорил ей, что она ему не нужна. Она давно решила, что не хочет его любви; она только мечтала сделаться ему «нужной», помогать ему совершенствоваться именно в том направлении, которое она в нем угадала.

А он не поверил, что она его поняла, и опять оттолкнул ее, даже не вслушавшись хорошенько в ее слова. Она опять, втайне гордясь своей силой, переломила себя, проглотила слезы и сказала добрым голосом:

– Это – дело слов, Дмитрий Васильевич. Я уверена, что когда-нибудь вы до конца меня поймете, и все будет ясно. Теперь же я хочу для вас только силы и верности себе. Скажите, почему я не знаю того, что вы уже написали? Вы говорили когда-то, что если начнете писать книгу – я первая прочту первые главы?..

«Ну вот, теперь о книге! Так я и знал! Сначала об отношениях, а потом о книге», – с томительным мучением подумал Шадров. Он знал, что если начнется разговор об его книге, к которой он готовился всю жизнь и которую едва начал писать, Нина Авдеевна будет не только высказывать свои мнения, но прибегнет к Тэну, Гегелю и многим другим, которые тоже писали «Философии истории», – и станет говорить о том, как они подошли к вопросу. Это все было бы праздно и скучно, потому что Шадров давно знал, как они подошли к вопросу, а знает ли это Нина Авдеевна – ему было все равно.

Он мечтал о своей будущей книге, как о чем-то совсем простом, необыкновенно простом, ни старом, ни новом, а как небо – всегдашнем; но он не обманывался и знал, что это лишь мечтанья, что книга будет похожа на книгу и даже будет скучна, потому что слишком ясна, математически определена, и что все это вовсе не плохо; но той простой силы, побеждающей без различия всех, великих и малых, той силы не будет в его книге, потому не будет, что он не сможет сделать ее еще яснее, еще точнее и научнее, равной самой математике, царице знаний.

Шадров любил говорить о своей книге, когда мог не заботиться, понимают ли его, и когда не уходило время на борьбу с неуместными возражениями. Он как-то говорил о ней с Мар-

гарет, долго и радостно, не стараясь применяться к ее понятиям, для себя. Она слушала его в глубоком, внимательном молчании, не перебила ни одним вопросом и потом не сказала ни слова. И ему это понравилось.

Но с Ниной Авдеевной рассуждать теперь он был не в силах. Он хотел промолчать, не желая выдумывать отговорки, и она, конечно, еще больше бы обиделась, но, к счастью, в эту минуту заревел гонг, призывавший в столовую.

Гроза не собралась еще, но тучи громоздились бессмысленно одна на другую, черные, толстые, рваные. Там, где вдруг обнажился кусок неба, он весь светился зеленым, кротким холодом и прозрачностью; но его тотчас же съедали жадные, тяжелые тучи, спеша, наваливаясь одна на другую, все плотные, бесцветные, как самые черные чернила.

Не было ни далекого простора, ни даже деревьев парка.

Когда замолк рев гонга, слышно стало, что где-то, не то вверху, не то внизу, вздыхает гром, точно старый человек устал, хочет заснуть – и не может.

Шадров и Нина медленно пошли к дому. Широкие окна были освещены белым и желтым светом. Гравий дорожки побледнел от упавших на него четырехугольных электрических пятен.

Ночь была густая, недобрая и непроницаемо черная.

## VII

За ужином никакого веселья не вышло, хотя они действительно спросили шампанского и выпили по бокалу. Кругом царило все то же ненарушимое молчание. Нина Авдеевна не могла заставить себя говорить обыкновенным голосом и шептала. Маргарет удивила Дмитрия Васильевича. Шаловливости и даже любезности в ней не было и следа. Она надела белое платье из какой-то дорогой, не очень красивой материи, сшитое по-английски – сложно. Худенькая шея была полуоткрыта, совсем детская, тонкая шея, к которой так не шло старинное, тяжелое жемчужное ожерелье с темной застежкой. Непослушные волосы Маргарет пригладила и церемонно сжимала губы, стараясь быть солидной.

Шадрову эта неожиданная тщательность туалета, ожерелье, серьезный вид – казались невыносимо трогательными, и он отвертывался, не глядел, не желая поддаваться той беспричинной жалости, которая имела над ним силу страдания.

Тотчас после ужина Нина Авдеевна должна была спешить к поезду. Шадров вышел проводить ее на крыльцо. Лошади уже ждали. Слышно было их совсем близкое фырканье и короткий стук копыт, когда они переступали по твердой дороге; но сквозь тяжкую тьму не было видно экипажа, а только мерцали два громадных пятна фонарей, даже одно (потому что от другого был виден лишь отблеск), да освещенный этим коротким красным снопом лучей бок лошади, темно-золотистый, с подвижной кожей, и тонкий, вялый конец бича, попавший в светлый круг. Нина Авдеевна медлила.

– Ну, что ж? Прощайте, – говорила она, не выпуская руки Шадрова из своих мягких, точно из свежего теста сделанных, рук. – Прощайте! Надолго теперь. Бог весть, когда увидимся. Не думала я, что так скоро приеду сюда в последний раз.

Дмитрий Васильевич питал особенное отвращение ко всяким «последним разам». Он часто говорил Нине Авдеевне, что не верит в них, потому что, в сущности, каждое свиданье, каждое письмо так же легко может оказаться последним, как и последнее, а потому все равны для него. Будущее слишком неизвестно, и сентиментально-трагичное упорство Нины Авдеевны, когда она восклицала: «Это последнее! последнее!» – раздражало Шадрова, как бессцельное старанье себя растрогать.

Он знал, что она долго еще не уедет, а все будет так стоять и чего-то ждать со скучной тоскою, и говорить, что это последнее свиданье, в последний раз.

И Шадров, почти неожиданно для себя, сказал:

– Возможно, что я еще не уеду в субботу. Мне бы хотелось остаться. Мама немного спокойнее. Я не решил, но я вам напишу.

– Напишите? Как было бы отлично! Оставайтесь! – заговорила Нина другим голосом, без томности, а просто с радостью, и тотчас же выпустила его руку.

– Я тогда еще приеду, – продолжала она, уже невидная из темноты, усаживаясь в экипаж. – Смотрите же, жду письма, непременно! И с известием, что остались!

Кончик хлыста скользнул вверх, исчез из светлого круга, который заколебался, расширился, сузился и быстро побежал в сторону. Копыта застучали гулко и мерно, и стук стал удаляться.

Шадров повернулся, чтобы войти в дом.

Зачем он сказал Нине, что останется? Солгал, чтобы избежать ее «последнего раза»? Нет, он еще утром думал, что можно и не торопиться, – мать спокойнее. Но он ничего не решил и даже не знал, почему ему хочется остаться. Здоровье было неплохо. Любопытство к Маргарет? Да, это в Нем есть. Он никогда не встречал такого странного существа, и ничья душа ему не давала такого желания посмотреть в глубину, посмотреть, из чего сделана человеческая душа. Он знал только части душ, ту часть, которую человек отдает своей книге, своей картине, своему научному открытию, а всей души, совсем всей, и не сквозь искусство или науку, а только сквозь жизнь – он не видел никогда.

Задумавшись, он вышел в длинную, слабо освещенную переднюю – hall<sup>6</sup> – и машинально направился к лестнице, но вдруг столкнулся с Маргарет и вздрогнул от неожиданности.

– Вы идете наверх?

Она, вероятно, ждала его здесь, зная, что он пошел проводить Нину Авдеевну.

– Послушайте, – продолжала она тихо и быстро, не ожидая его ответа. – Не ходите наверх. Еще очень рано. Пойдемте в салон, в маленький, где есть рояль. Мне сегодня хочется петь: я вам спою все, что вы захотите. Я ведь вам говорила – помните? – что у меня был прежде хороший голос, большой, я училась петь. Потом он почти пропал, от болезни, но теперь мне гораздо лучше: я еще недавно пела. Хотите? Пойдемте.

Она спешила и смущалась, прося и боясь, что он откажет. Они никогда не говорили о музыке раньше; Маргарет даже не знала, понимает ли, любит ли ее Шадров.

Он взглянул на нее с нерешительным удивлением.

– Можно ли? Не поздно ли? Не встревожит ли это больных?

– Можно, можно! Я сейчас спрашивала! До десяти часов можно, а теперь только девять. Пойдете, да?

– А вам, наверное, это не вредно? – начал он, но Маргарет уже поняла, что он пойдет, и почти побежала по коридору.

Санатория была пустынна и еще молчаливее, чем днем. Почти все больные ушли наверх. Даже лакеи не ходили в своих мягких башмаках. Небольшая комната, где и днем почти никто не бывал, не очень ярко освещенная двумя электрическими цветами высоко под потолком, казалась нежилой. У одной стены стояла фисгармония, у другой – старый, маленький рояль. Широкое окно было открыто настежь в темный сад, такой темный, такой черный, что, казалось, там не сад, а пустота, даже без воздуха – конец мира. Против окна, как раз на противоположной, близкой стене, висело зеркало, такое же широкое, как отворенное окно. И, повторяя в себе окно, зеркало было такое же пустое и черное, и у мира, казалось, было два конца, два края с двух противоположных сторон.

– Что вы хотите, чтобы я спела? Что вы любите? – спросила Маргарет, открывая рояль.

Она говорила уже не торопливо, а серьезно, почти важно.

---

<sup>6</sup> холл, вестибюль (англ).

– Ведь вы же думали о чем-нибудь, когда хотели идти сюда, – сказал Шадров. – Спойте то, что сами хотите. Это и будет самое лучшее.

Она села за рояль, привычным жестом подвинула табурет ближе и взяла тихий, робкий аккорд. Шадров видел сбоку ее тонкую, маленькую, немного согнутую вперед фигуру и глаза, опущенные вниз. Она и запела тихонько, простую английскую песенку, едва аккомпанируя себе редкими, негромкими аккордами.

Кончила и сейчас же начала другую, такую же тихую, но совсем не тягучую и не жалобную, а ясную, уверенную. Голос ее делался громче и чище. Он был не высокий, но широкий и легкий. Ни одна нота не стоила ей усилия, точно петь для нее было так же просто, как говорить. И такое же простое – всегда разнообразное – выражение было в ее голосе, как и в словах.

Вероятно, она умела петь, но Шадров не думал об этом, потому что никогда не занимался музыкой, не входил в нее; в последние годы даже избегал ее и совсем отвык. Он боялся музыки, потому что не понимал, что это такое, и знал, что сколько ни будет думать о ней – не поймет никогда. Даже не поймет, искусство ли она, или что-то совсем другое, и откуда, почему, какая власть у нее над людьми? Картину, стихотворение, высказанную мысль – он понимал; художник, создавая сочетанием красок явный образ, говорил им, этим образом, понятно о том, чего нельзя видеть и понять без образа, без явления, ибо оно – только за образами, за явлениями. Это искусство. Что же такое музыка? Сочетание звуков? Да, но сочетание красок дает образ, мост к Непонятному; сочетание звуков не дает никакого образа: сочетание звуков – это открытое окно в Непонятное, – темное, черное, страшное окно, из которого, верно, что-то глядит, невидимое, в душу человека, и душа трепещет, и закрывает глаза, зная, что им все равно не проникнуть в близкую и властную тьму.

Шадров не мог бы сказать себе, что было в голосе Маргарет, в ее простой песенке; он даже слов не понимал и ему не хотелось понимать. Ему казалось, что душа ее ближе к нему, говорит с ним, и он слышит и знает о чем, только слов не может разобрать, да и не надо. Он слушал – и ему было и хорошо, и плохо, потому что он все-таки мучился и думал о том, что не может думать.

Черная тьма по-прежнему смотрела на него с двух сторон. Маргарет вдруг встала.

– Подождите, – сказала она не резко. – Я еще вам спою, только без рояля. Он нехороший и не нужно его. Вот слушайте. Я одна.

Она отошла в глубину комнаты и стала спиной к темному, черному зеркалу. На нее точно упала тень из открытого окна, она стала вся меньше и платье бледнее. Руки ее были опущены, слабо золотился на тоненькой кисти сползший браслет.

Шадров не знал и теперь, что она поет. Ему даже перестало казаться, что это человеческий голос; это были сочетания звуков, опять близкая душа с ним говорила, опять черное окно открывалось, и он не хотел, чтобы оно открывалось. Маргарет пела по-французски, и Дмитрий Васильевич уловил конечные повторяющиеся слова:

«Medje...Medje... Tu doutes que je t'aime, –  
Quand je meurs de t'aimer...»<sup>7</sup>

Это были слова, обыкновенные, как будто понятные слова, о любви, о смерти, – сочетания звуков, выходя из тьмы, уже шли в понятное... И Шадрову показалось, что не нужно этих слов, что звуки одни, сами, несказанно говорят о несказанном.

«Quand je meurs de t'aimer...»

---

<sup>7</sup> «Медж, Медж, ты сомневаешься, что я тебя люблю, когда я умираю от любви к тебе...» (фр.)

Любовь? Смерть? К этому ли тянутся нити из тьмы?

Нет, нет – и да; потому что эти нити уже есть, только от любви, от смерти идут, тянутся, пропадают концами во тьме.

И опять:

«Medje... Medje... Tu doutes que je t'aime –  
Quand je meurs de t'aimer...»

Конец света был за черным окном, в черном зеркале. Туда уходили, оттуда возвращались нити любви и смерти, и не видно их было, и непонятными были и любовь, и смерть. Отчего нет острых и длинных лучей, которые бы пронизали тьму, чтобы знать, куда идут нити?

Далекий гром вдруг прокатился где-то, и стены мягко дрогнули. Маргарет кончила, отошла от зеркала и села на диванчик, где сидел Шадров, но поодаль.

– Что, вам нравится, как я пою? – спросила она несмело, помолчав.

У нее, вероятно, был жар. Одна щека горела, и глаза сделались темными. Все лицо ее показалось Шадрову другим, странным, проясневшим, но не успокоенным, глаза смотрели открыто, без всякого отражения мысли – точно она не видела, не слышала даже и своих слов – и были почти прекрасны.

– Не знаю, нравится ли мне, – медленно проговорил Шадров. – На меня иногда очень действует музыка, и я ее не люблю.

– Когда я пела... Я знаю, вы слушали, – сказала Маргарет с уверенностью. – Вы любите музыку; вы, может быть, только не хотите ее любить?..

– И не хочу. Я ее не понимаю. Маргарет улыбнулась и покачала головой.

Яркий, трясущийся, серовато-белый блеск вдруг наполнил пустоту окна, протрепетал в другой черной пустоте – в зеркале, и сгас, и опять стала та же пустота. Все, что показалось в ней, – мертвые деревья, серая трава и воздух, – все опять закрылось, и нельзя было верить, что оно там есть. Через долгую минуту густо, глухо, устало прокатился и закатился гром.

– Гроза! – тихонько произнесла Маргарет.

– Вы боитесь?

– Нет. Теперь не боюсь. Я не всегда боюсь.

– И не нужно бояться. Видели, как хорошо было сейчас, когда в саду стало светло?

– Нет, нехорошо. Такое все серое, страшное. Как теперь – лучше. Точно занавеси черные. Я люблю темные ночи. А в Петербурге светлые, белые... Вот вы их скоро увидите. Вы рады? Вам хочется уехать?

– Нет, очень не хочется. Я вам и говорил, что мне не хочется уезжать.

– Да? О, не надо, не уезжайте! Я хочу, чтобы вы не уезжали! Мы будем говорить, будет хорошая погода, я стану вам петь... Или вам не нравится? Но вам понравится, я знаю: я Массенэ спою или Вагнера, все, что вы захотите. И вам понравится. Только ведь вы не останетесь... нет?

Она стояла перед ним, опустив руки, – как пела, – и смотрела ему прямо в лицо темными, похоронившими, недумаящими глазами, с открытой мольбой.

– Я думаю, что останусь, – проговорил Дмитрий Васильевич медленно. – Я даже Нине Авдеевне сказал сейчас, что, вероятно, не уеду в субботу. Мне не хочется уезжать – из-за вас. Я не знаю вас, но знаю, что хочу узнать ближе. И я останусь немного.

– Это... правда? – совсем тихо, почти шепотом, спросила Маргарет, наклоняя к нему свое серьезное лицо. – Это правда, что вы... для меня останетесь? Это правда?

Шадров совсем близко видел ее темные, бездумные, почти грозные глаза и не отвел взора. Какая-то мысль торопливо постучалась к нему, но он ее не пустил. Тонкие руки легли ему на плечи. Он сказал:

– Это правда.

Потому что ведь это была правда, и он сказал ей всю правду, какую знал, а стучавшуюся к нему постороннюю мысль он не впустил. Правда никогда и нигде не может быть не у места, – не должна быть.

Маргарет держала теперь его руки в своих маленьких руках и смеялась, и плакала вместе.

– Да? Так вы остались? Значит, вы уже думали о том, что я вас люблю, очень люблю!

Шадров до последнего мгновения хотел не верить в то, что было неизбежно, хотел в невольном ужасе поддержать падающий камень, который все равно нельзя поддержать и, вероятно, не нужно было поддерживать.

И он сказал, стараясь шутить:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.